

# Наши Расказы

народный писатель Азербайджана



## БРАТ

### Рассказ

Ночью внезапно ему сделалось плохо, в какой-то миг он даже подумал, что умирает, не доживёт до утра. Голова болела адски, нечеловеческая боль висела где-то в области височной кости, пронзала череп, его стошнило на коврик перед кроватью, сил не было подняться, дойти до туалета. Жена переполошилась, звонила в «скорую». Было четыре утра, когда всё прекратилось вдруг так же, как и началось.

– С чего бы, господи? – тихо, испуганно причитала Маша, жена. – Вроде бы ничего не ел такого, я думала, отравился, все симптомы отравления...

– Не пил? – сонный неряшливый врач «скорой», изучая слабый пульс, пояснил: – Спиртное?

– Да он вообще не пьёт, – почему-то возмутилась Маша.

– Явный упадок сил, – констатировал врач. – А так всё нормально вроде. Пусть отдохнёт денька два.

Но отдохнуть не пришлось ни два денька, ни даже один. Утром пришла телеграмма, срочная: «Умер брат твой родной. Скончался четыре утра. Мама».

Библейский тон телеграммы в какой-то мере шёл от незнания отправлявшим русского языка, к тому же был предназначен для его начальства на работе – чтобы знали, что именно родной брат умер, и отпустили бы приехать на похороны. Да и билет на самолёт, конечно. С такой телеграммой на руках будет гораздо проще срочно взять билет в аэропорту.

Он был сражён – его брат-близнец, тридцати шести лет, здоровый, полнокровный, в расцвете сил, и вдруг – умер. Это не умещалось в сознании. Умер. Внезапно. Уме-ер. Он перекатывал это слово в мозгу, и оно никак не соответствовало цветущему виду весёлого, любящего покутить, пожить, пошуметь брата, человека авантюрного склада, брата, который был прямой противоположностью ему... Надо было действовать, куда-то мчаться, что-то делать, покупать билет на ближайший рейс до Баку, а он сидел на краешке кресла, безвольно уронив плечи, опустив руки, в одной – телеграмма. Будто вот-вот упадёт с кресла. На самом краешке. Маша с тревогой наблюдала за ним, не решаясь что-то сказать. Она понимала, что надо теперь срочно лететь в Баку, чтобы успеть на похороны.

Чудовищно, думал он, чудовищно, и, кажется, сказал это вслух, потому что жена вдруг чуть встрепелась.

В самолёте он спал. Ужасная ночь, когда он физически переживал смерть брата-близнеца, крайне утомила его, и он ни о чем не мог думать, всё клонило в сон, закрылись глаза. Он заснул, и приснился ему кусочек из их детства, вернее, из детства



его брата, Азада. Дача в Приморском, что возле селения Мардакяны, горячий белый песок под ногами. Всё кругом залито жарким солнцем, низкие, стелющиеся по земле, по песку виноградники, раскоряченное дерево инжира, и мама на крыльчке дома, разморённая жарой, говорит его брату, Азаду, чтобы он был осторожнее и смотрел под ноги, здесь могут водиться змеи, и Азад поднимает поочерёдно свои ножки и смотрит на пятки. Им с братом по четыре года. Он вдруг проснулся и устался на поднос со стаканчиками в руках у стюардессы, который она совала ему прямо в лицо, предлагая попить. Губы её зашевелились, он отвёл глаза, бессознательно взяв стаканчик, стал пить и заплакал. Потом он опять заснул и снова вспомнилось детство, когда они поехали в Кисловодск. В те годы было модно ездить в Кисловодск, в Пятигорск. Для Закавказья они считались престижными курортами, и как-то, гуляя с мамой втроём, они набрали на старушку-цыганку, которая вцепилась в маму, как клещ, и не отпускала, пока не выудила у неё деньги, а потом нагадала им будущее, что оба её сына-близнеца умрут в один день и от одной болезни. Мама страшно рассердилась и перепугалась, торопливо увела их домой, отцу рассказала, на что он резонно заметил, что умереть можно и в глубокой старости, и вместо того, чтобы паниковать, надо было уточнить у цыганки, тем более, что деньги заплачены... Теперь, вспомнив этот эпизод, он тяжело вздохнул во сне: в один день и от одной болезни – не угадала, обманула цыганка.

Весна обрушилась на этот город, как бедствие: внезапно, раньше времени, без малейшего перехода от зимы – вдруг подул тёплый, болезнетворный, беременный солнцем ветер, и то небольшое, что успело выпасть накануне и что трудно было назвать снегом, тут же превратилось в грязь и слякоть под ногами у прохожих. Голые деревья приободрились в ожидании почек и цветов, а мрачные лица на улицах стали щуриться, изображая улыбки. По-настоящему улыбаться в этом городе уже не умели, умерли тихие радости; хохотали, это да, хамски, не заботясь о том, что могут доставлять неудобство окружающим; множество молниеносно разбогатевших людей старались как можно ярче прожигать жизнь, но выходила от этого прожигания одна вонь; а вот улыбки исчезли – те, кто уехал, не веря уже в возрождение этого, некогда столь прекрасного города, увезли с собой свои улыбки, те, кто остался, – улыбаться разучились.

Он смотрел в окно такси и не мог думать, не мог сосредоточиться ни на чём, но как-то непривычно ярко воспринимал окружающее, чего с ним почти никогда раньше не бывало – болезненно-реально воспринимал и эту весну, и людей на улицах, и деревья, и дома. Он был несколько удивлён: по натуре он слишком мечтательный, замкнутый, чтобы так сильно ощущать реальность. С детства он мечтал о будущем, и это было вполне естественно; теперь, когда будущее уже становилось прошлым, он мечтал о прошлом, преобразовывая его задним числом, придавая себе решительный, деятельный характер, как у его брата-близнеца, мечтал о том, что давно прошло, что можно было бы сделать не так, что всю жизнь свою можно было бы построить не так... Мечтал, мечтал... Вот покойный Азад – другое дело, он был слишком реальным, до мозга костей, жил этой минутой, этим днём, на остальное ему было наплевать, и мечтания вызывали у него недоумение и даже раздражение, хотя нельзя утверждать, что воображение у него было притупленным.

Дом был старый, как говорится, на ладан дышал, и давно мог бы пойти на слом, но дело в том, что все дома в этом квартале были не лучше, и сносить надо всё, или ничего не трогать. Так и проходили годы, и всё оставалось по-старому, и становилось всё старше и старше, пока, устав стоять, не валилось само собой, и тогда подводили итог – аварийный дом, хотя аварийным он был уже тридцать лет назад. В одном из таких домов и жил брат с матерью.

Он вошёл во двор, где повеяло на него воспоминаниями детства, поднялся по скрипучей узкой деревянной лестнице и тут же попал в объятия родных. В доме оказалось полно людей, его стали хватать, целовать, обливать слезами; плач, чуть слышимый со двора, здесь был гораздо громче, мать теребила его, что-то говорила. Через распахнутую дверь комнаты отсюда, из коридора, виднелось на столе изножье гроба без крышки. Крышку он видел во дворе, она стояла, прислонённая к входной двери, извещая всех, что в доме покойник. Ему что-то рассказывала мать. Он поглядывал на неё тупо, напрягся, прислушиваясь, и тогда узнал, что брат его умер от менингита, скончался – как сгорел – в больнице в течение трёх дней, не приходя в сознание, пребывая все трое суток в глубокой коме. Он слушал, понимал теперь, но всё равно не мог хорошенько сосредоточиться, ловил себя на странных ощущениях, будто это и не он вовсе, как бы со стороны видя и наблюдая за самим собой, будто кто-то другой за него слушает и плачет, и целует маму, и гладит её по голове.

В тот же день хоронили Азада. Душный, тёплый, почти летний день, несмотря на то, что стоял ещё только март. На кладбище многие сняли свои пальто и плащи и держали их, перебросив через руку, солнце блестело нестерпимо, мулла читал молитвы густым спокойным голосом – смерть для него была работа, всего лишь работа, средство для существования; над ними пролетел самолёт, на несколько секунд абсолютно заглушив зауспокойные молитвы муллы своим нарастающим гулом.

Ночью он долго не мог заснуть. Плакать не хотелось, он мог трезво размышлять, но в то же время ему казалось странным, что он не может проникнуться этой страшной потерей самого, может быть, близкого человека на свете. На миг проскользнуло в мозгу, что он, непонятно как, охвачен бездушностью и чёрствостью брата по отношению к окружающим, равнодушием, которое характерно было для покойного. Он лежал без сна, и чем дальше, тем труднее, тем почти невозможнее было ему осознать горе, прочувствовать всю неизмеримую глубину его... Что-то странное, необъяснимое творилось в его душе. Потом он заснул и приснился ему его брат-близнец, Фуад, который уехал в Москву и вот уже три года, как там женился. «Смотри же, – говорил он Фуаду на прощание, – будь осторожен, сам знаешь, какое время смутное. Звони почаще, мама будет беспокоиться, понадобятся деньги, дай знать, пришлю моментально».

Фуад кивал, соглашаясь, но во взгляде его была непонятная ему отрешенность, туманность, видно было, что мыслями он далеко отсюда, от брата. Это его сердило.

«И не будь разиней, – сказал он в сердцах. – Люди только того и ждут, чтобы тебя облапошить. Научись жить».

Фуад улыбнулся ему вдруг такой беззащитной, мягкой, доброй улыбкой, будто они прощались навсегда. И он понял, что никогда тот не научится жить, и будут его постоянно обманывать, и он в ответ будет вот так вот, как сейчас, улыбаться. У него сердце защемило.

«Обнимемся, брат», – сказал он. Они обнялись. Потом он полез в карман и вытащил деньги. «Ничего не говори. Ты уезжаешь. Не помешает. Бери». «Нет, не надо, – сказал Фуад, осторожно отстраняя от себя руку брата с деньгами. – Ты с мамой, тебе будет тяжелее, оставь». «Бери, тебе говорят, – он насильно впихнул деньги в карман брату. – Для тебя отложил. Не такие уж большие деньги – тысяча баксов. На первых порах может сгодиться, пока устраиваться будешь».

И Фуад уехал.

Утром он проснулся с тяжёлой головой, к тому же ещё и сердце побаливало, чего раньше с ним никогда не случалось, никак не мог вспомнить, что видел во сне, встал, оделся. Надевая пиджак, по привычке пощупал нагрудный карман: он был пуст. Этого не могло быть: он отлично помнил, что там лежали деньги, тысяча

долларов, которые он положил перед отъездом... Он тряхнул головой, будто отгоняя наваждение. Перед каким отъездом?.. Что за чушь? Как каким? Перед отъездом из Москвы... Да? А что же он там делал, в Москве? Нет, этого быть не может, он здесь, дома, и последние десять лет никуда из Баку не выезжал, мама постоянно болела, да и дела всякие... Нет, конечно же, он вспомнил: он вчера выиграл в казино эти деньги, и в тот же день вложил их в дело, приятель едет в Дубай за товаром, он отдал ему и просил привезти и на его тысячу тоже. Вот и всё...

Мама, тяжело переставляя ноги, вошла в его комнату. Она очень постарела, заметил он про себя, впрочем, тут же прибавил он, вполне естественно, что чем больше живёшь, тем больше старишься, обратного процесса, к сожалению, нет. Некоторое время она молча, тяжело переводя дыхание, смотрела на него.

– Фуад, – сказала она тихо.

Он недоуменно посмотрел на неё. Она присела на краешек кровати.

– Нет больше нашего Азада, – она всхлинула.

– Что ты, мама, – сказал он. – Я здесь, не плачь.

Но она продолжала плакать и причитать о чём-то своём. Мама совсем больна, подумал он, и тут вовремя вспомнил, что у него сегодня утром важная встреча.

– Я всю ночь не спала, вспоминала его, каким он был, – продолжала она, тихо плача, не замечая его суетливых движений. – Он много мне крови попортил, много нервов потрепал, бывало, ночами не сплю, жду его, волнуясь, а он ни на утро, ни на следующее не приходил, пропадал по суткам, по неделям. Я на первых порах звонила в милицию, по больницам, по моргам искала его, – она вдруг громко зарыдала, – но пусть лучше так, пусть всё что угодно, лишь бы был, лишь бы был мой сынок, – она немного помолчала и снова заговорила, поглядев на него: – Не то что ты, сыночек, он был полной противоположностью тебе, будто вы не только не близнецы, но и не братья вовсе, совсем на тебя не был похож, ты спокойный, рассудительный, тихий, а от него, помнишь, вся улица в детстве плакала, как выходил, все прятались, знали – жди неприятностей, как Азад показался на улице... Ты что, Фуад, куда-то собираешься?..

Эти двое ждали его, как договаривались, в маленьком, безлюдном переулке, аппендицитным отростком уходящем от одной из центральных улиц города. Завидев его, они подошли и молча передали ему кулёк из плотной бумаги, какие продают здесь на базарах. Он, не говоря ни слова, заглянул в кулёк – там лежали деньги: две внушительные пачки зелёных купюр.

– Как договаривались, – сказал один из них. – Будешь пересчитывать?

Он помотал головой.

– Не беспокойся, – сказал второй. – Как в аптеке. Бумажка к бумажке.

– Созвонимся, – сказал первый, и они ушли.

Он взял кулёк подмышку и вышел из переулка. Ноги сами привели его к Лале. Входя в подъезд, он поднял голову, оглядел фасад дома, окна на втором этаже. Дом казался знакомым, а в подъезде он к тому же отчётливо вспомнил запахи, острые, сложные, неприятные запахи, которые никакими силами нельзя было выветрить отсюда. «Как давно я здесь не был», – подумал он, поднимаясь по лестнице, и тут вдруг очень ярко вспомнил объятия Лалы, её стоны в постели, которые приводили его в неистовство, их с ней любимые позы. Она открыла ему дверь и чуть не вскрикнула, увидев его на пороге. Вид у неё был крайне утомлённый, усталый.

– Ты?! – в каком-то суеверном ужасе воскликнула она.

– А ты кого-то другого ждала? – спросил он, входя. – А? Что тут неожиданного, в моем приходе?

– Нет... – растерянно проговорила она. – Но мне... мне...

– Что тебе? – спросил он, проходя в комнату и спокойно разваливаясь на диване. – Давай, рожай.

– Мне сказали, что ты... что будто ты умер, – произнесла она наконец.

– Вот это здорово, – покивал он, разглядывая её с ног до головы, и тут вдруг ощутил сильный прилив желания. – Ещё что скажешь весёленького? – спросил он, поднимаясь, подошёл к ней вплотную, повалил её на диван, и грубо, без всяких ласк взял, намеренно делая больно и получая удовольствие от её криков. Потом когда оба умиротворённые лежали на диване, он спросил: – Теперь убедилась, что я не умер?

– Теперь – да, – сказала она. – Ещё как не умер.

– Я приду сегодня ночевать, – сказал он. – И, может, завтра тоже. С матерью творится что-то неладное.

– А что? – она спросила с такой заботливостью в голосе, что ему сделалось немного неприятно, и он пожалел, что вообще заговорил об этом. «Надо было к Кате пойти, та не сует свой нос куда не надо», – запоздало подумал он.

– Ну... странности... – тем не менее, хоть и неохотно, ответил он. – Меня с Фуадом путает, и вообще... Но ведь за ней, наверно, надо присматривать сейчас. Тётя с ней побудет. Родни у нас, как собак нерезаных. Мне надо отдохнуть немного, её разговоры меня раздражают, в последнее время вопросы какие-то нелепые задаёт...

– А ты сам нормально себя чувствуешь? – спросила она.

– Нет, – сказал он. – Ненормально. Всё время трахаться хочется, – он схватил её в объятия, прижал к себе так, что она пискнула. – Сперма ударяет в голову слишком часто, вот и болит голова.

Утром он позвонил матери.

– Ма, – сказал он, – у меня тут кое-какие дела, меня дня два не будет. Тётя Соня пусть ночует у нас.

– Фуад, дорогой, где ты был? – по-старчески запричитала мать тут же, как услышала его голос в трубке, не вникая в то, что он говорит ей. – Я так волновалась. Вчера Маша звонила из Москвы, тебя спрашивала, а я и не знала, что ей сказать.

– Ладно, ма, мне пора, вечером позвоню. Не забудь с тётей договориться, – и он повесил трубку.

«Бедная ма совсем плоха, – думал он, шагая по улице, – упорно зовет меня Фуадом... Скучает, видно, по нему... Впрочем, она и в детстве постоянно путала нас... Но Маша... Какого чёрта ей от меня нужно?... Спрашивала меня, говорит... Странно, странно, весь мир свихнулся будто... Лучше б она за своим мужем ухаживала. Кажется, у них с Фуадом не очень-то ладится в последнее время... За три года ребёнка даже не нажили...»

– Эй!

Окрик совпал с пронзившей его, как судорога, картинкой, вдруг вставшей перед глазами. Краешком сознания поняв, что окликнули именно его и окликнувший торопливо подходит, он неожиданно остановился, будто оглушённый, внезапно вспомнив стюардессу с подносом, себя в самолёте, вонь от разутых ног, самолётный специфический холод, который сейчас достаточно явственно возник в его ноздрях. «Что я там делал? Что я там мог делать? Нет, ерунда какая-то, – думал он растерянно. – Не был я там и быть не мог, так, что-то застряло в памяти из прошлого, а будто вчера».

– Эй! – и, обгоняя свой крик, кричавший побежал к нему, будто боясь, что он исчезнет, растворится в толпе. Добежал, наконец.

– Что? – коротко спросил он.

– Что?! И ты еще спрашиваешь – что? – с ходу рассвирепел кричавший. – Три месяца тебя ищут. За тобой должок, забыл, что ли?

– Почему же, помню, – спокойно ответил он.

– И что же?

– Готов заплатить.

– Тогда гони два куска. И скажи спасибо, что беру без процентов.

– Спасибо, – он вытащил деньги, отсчитал двадцать сотенных зелёных купюр и протянул их неизвестному, но очень рассерженному мужчине, который при виде денег резко смягчился и подобрел.

– Я, честно говоря, вчера слышал в казино, что будто бы ты умер, Азад, чего только люди не напридумают, но когда сказали – от менингита, тут же понял – враньё... Такие как ты не умирают своей смертью... Если б сказали – от ножа, то ещё можно было бы поверить...

– Ты получил свои деньги? – остановил он разговорившегося приятеля. – Я больше тебе ничего не должен?

– Нет, больше ничего, я с тобой в расчёте, – довольным тоном ответил тот.

– Тогда и я с тобой рассчитаюсь, – и мгновенно развернувшись, ударил мужчину в челюсть, тот отлетел, упал, начал, крича, подниматься, но он не стал ждать дальнейших событий, повернулся и пошёл дальше, куда направлялся до окрика.

Он шагал по улицам и думал, поглядывая на прохожих, что облик его родного города, который он некогда обожал, резко изменился к худшему. Угрюмые, вырожденческие лица людей, приехавших из районов, из деревень, где все родственники женятся друг на друге, порождая кретинов, составляли теперь генофонд города, когда-то, в недалёком прошлом на улицах которого почти нельзя было встретить ни одного такого плебейского лица. Харкающие на тротуары мужчины и женщины, перегруженные, как мулы, до отказа набитыми мешками; хамское отродье, чешущее себе зад на людях, отравляющее воздух города, распространяющее вокруг себя смрад и зловоние, паскудные людишки повывлезли, понаехали, ковыряют в носу и разглядывают пальцы, прежде чем вытереть об штаны, воинствующие ублюдки, быстро разбогатевшие на торговле и ненавидящие интеллигентов. Короче, всё это не прибавляло хорошего настроения человеку, любящему свой город и видящему, во что его превратили. Невольно он стал сравнивать свой город с Москвой, и тут в недоумении снова остановился: при чём здесь Москва? Сейчас, сейчас... Он стоял, словно оцепенев, уйдя в свои мысли, стараясь найти причину этого непонятого сравнения, посреди тротуара на центральной улице, полной озабоченно спешащих и бесцельно гуляющих прохожих, и старался сосредоточиться. Ну... ну, просто он знает, что там теперь гораздо более высокий уровень жизни, да и ведь с недавних пор по статистике – самый дорогой город мира, не шутка. Он зашагал дальше, частенько машинально оглядываясь на хорошеньких девушек, смотри ты, оказывается, ещё не все повывелись, хватит на наш век. Тут, вроде ни к селу ни к городу, вспомнил он вдруг Фуада, как тот мог часами без дела лежать на диване и о чём-то непостижимом мечтать. Это было непонятно для него, хотя они были близнецами. В детстве одновременно болели, выздоравливали, просились на горшок, понимали друг друга с полуслова, лучше, чем мама их понимала, любили одни и те же цвета – зелёный и жёлтый, всё у них совпадало, как и должно было быть, но характерами они стали прямой противоположностью друг другу, и эту мечтательность, стремление уйти от реального мира, эту черту характера брата он просто не мог понять, он был слишком деятельным для бесполезных мечтаний, и то, что он не умел, раздражало, сердило его. Из телефона-автомата он позвонил матери. У мамы был охрипший, будто простуженный голос, севший от долгого плача.

– Ма, – сказал он, – я гуляю по городу. Здесь все как с цепи сорвались, торгуют, весь город занимается куплей-продажей.

– Фуад, – сказала она крайне встревоженным голосом, – что с тобой?! Что с тобой происходит? Скорее возвращайся домой. Сегодня три дня со смерти Азада. Послезавтра поминальный четверг. Собираются родные, спрашивают тебя, а тебя нет, я не знаю, что говорить, – она заплакала в трубку. – Что с тобой случилось? Маша звонит по три раза в день...

– А ей что ещё надо?

– Как?! Как что?! – возмутилась мать. – Жена она тебе или нет? Как же ей не беспокоиться... Я тут с ума схожу от горя, а тут ещё о тебе тревожиться... Возвращайся сейчас же, я прошу тебя...

– Мам, не говори глупостей, – прервал он, не придавая значения её словам. – Со мной всё в порядке. Просто у меня дела. Возьми себя в руки, соберись. Я знаю, тебе сейчас нелегко, я приду домой, ма, как только смогу, – и, не слушая её возражений, он повесил трубку.

Несколько дней, позабыв обо всём на свете, почти сутками напролёт он играл в казино, а когда оно закрывалось – у приятелей, у знакомых дома; и всё время ему везло, он крупно выиграл, теперь на руках у него оказалась большая сумма, и невозможно было просто таскать её повсюду с собой. И потому как-то, еле оторвавшись от интересной игры, он заскочил на минутку домой и, бесцеремонно отмахнувшись от непонятных, странноватых причитаний и ворчаний матери, спрятал пачки денег в своём старом тайнике, о котором кроме него никто не знал. Вынутые сбоку от печки два кирпича создавали идеальную нишу для тайника и плотно закрывались куском кафеля, который уж никак нельзя было заподозрить, что он время от времени превращается в своеобразную дверцу сейфа. Кончив укладывать деньги, он выскочил из дома – ребята ждали, – услышав, как мать прокричала ему вслед:

– Маша собирается приехать!

Ночевал он в эти дни то у Кати, то у Лалы, но в основном засыпал от усталости, там же, где шла игра. Все партнёры по игре говорили, что ему везёт, как обычно, и клялись в последний раз садиться с ним за карты. Его невероятное везение устрашало, и мало кто выигрывал или оставался при своих деньгах, когда играл с ним, но играл он искусно, играть с ним было интересно и потому обычно его не избегали, а напротив, были даже рады, когда он участвовал в общей игре.

Часто – и это было неизбежно – он встречал на улицах родственников, они оставались в недоумении, обычно спешащего, подолгу порой разговаривали, упорно называя его Фуадом, удивлённо, недоумевающе поглядывали на него, избегая встречаться взглядами. Он не обращал на всё это внимания, посторонние разговоры, а уж тем более взгляды мало волновали его; в отличие от брата, он привык жить только для себя и мог взволноваться лишь тогда, когда посягали на его свободу, на его удовольствия.

Через несколько дней приехала из Москвы Маша. Он обнаружился только третий день после её приезда, позвонил матери. Мать была вне себя от горя и ярости. Трубку взяла у неё Маша.

– Послушай, – взволнованно сказала она. – Я много странных вещей слышала о тебе тут. Я поверить не могу. Приезжай сейчас же. Нам нужно обо всём серьёзно поговорить.

– Ты хочешь поговорить со мной? – с недоумением спросил он.

– Что это значит, Футик?! – взорвалась она. – Что за нелепый вопрос?! С кем еще я могу здесь разговаривать? Твоя мать буквально убита горем, смерть Азада её потрясла, к тому же ты ведёшь себя так... Этому просто нет названия, – чувство-

валось, что она себя сдерживает изо всех сил, с языка её готовы были сорваться ругательства, она, желая заглушить ими подкрадывающийся, непонятный страх перед впервые представшим в новом качестве, обычно покорным, уравновешенным мужем, стеснялась свекрови и её родни, и потому вынуждена была сдерживаться, чтобы не сорваться на крик и брань, что могло бы шокировать родных мужа. Переведя дух, она как можно спокойнее спросила: – Ты меня слышишь, Футик?

– Не смей меня так называть! – закричал он. – Сюсюкать будешь со своим мужем. И вообще я не понимаю, какого черта ты приехала сюда, в Москве тебе места мало?!

– Фуад, дорогой... – Маша, не сдержавшись, вдруг в голос заплакала, она теперь, после короткого разговора с ним, по-настоящему была напугана его словами, не могла уразуметь, что произошло с её вполне нормальным мужем, отчего он так изменился. – Фуад, единственное, о чём я прошу тебя, приезжай сейчас домой, умоляю. Мне надо видеть тебя, говорить с тобой. Я знаю, я часто бываю неправа, обижаю тебя, раздражаю, прости, сейчас тебе трудно, я понимаю, поверь мне, самое важное в этой ситуации – нам встретиться, поговорить. Я прошу тебя... Вот и мама твоя здесь стоит, плачет... Она тоже очень просит тебя вернуться... Мы не можем понять, что с тобой происходит, мы страшно беспокоимся о тебе...

– Не надо беспокоиться, у меня всё нормально. Я заскочу, как только смогу, – сказал он, повесил трубку, плечами пожал.

«Все с ума посходили, – сказал он самому себе. – Итак, подведём итог: из Москвы приехала Маша, тогда как Фуад там остался, спрашивается, какого хрена она прикатила – разлад в семье? Желание заручиться их поддержкой в борьбе против мужа-деспота? Но всем известно, что тише Фуада нет мужа на всём свете... Тогда что она от них хочет, что от него хочет? Ну ладно, чёрт с ней, баб не разберешь... С мамой дома тётя, она позаботится о маме, я им оставил в прошлый раз деньги, которых, принимая во внимание их расходы, может им хватить на год. Маша побудет и уедет, ничего страшного. Ну, вроде, всё нормально пока... Только почему они все называют меня Фуадом, а эта московская курица даже Футиком? Чёрт, надо же, и как это брат терпит такое? Впрочем, ему наверняка по нраву подобное сюсюкание, лежит себе на диване, мечтая о чём-то несбыточном, а она сидит рядом, гладит его по голове и приговаривает: Футик, ты мой дорогой, Фу-ти-ти-ти... Тьфу!»

Он чуть не налетел на девушку на тротуаре, замешкавшуюся возле витрины магазина, что-то там разглядывая. Она была очень эффектна, и многие мужчины, проходя мимо, оборачивались на неё – высокая блондинка, длинные, нехарактерные для этих мест русые волосы были прекрасно расчёсаны и волной опускались ниже плеч, короткая, слишком смелая юбка оголяла стройные ноги, породистые, красиво очерченные. Он несколько мгновений не сводил с неё глаз. Она глянула на него и улыбнулась.

– Что, не узнал? – спросила девушка.

– Ну... м-м... э-э-э... – промычал он, – почему же...

– Совсем спятил? – она тихо, коротко рассмеялась таким чувственным грудным смехом, что он чуть не задрожал от желания тут же на улице обнять её. – Фира я, ну, Фарида, глаза разуй, волосы только перекрасила, а ты уж и не узнал... Или не хотел узнать, а, честно?

– Да что ты, как не узнал, – осмелел он. – Я узнал. Вижу, Фарида стоит, да только вроде бы потемнее она была в прошлый раз...

– Так уж ты и помнишь прошлый раз, – махнула она рукой. – Не вешай мне лапшу...

К ним приковыляла нищенка, она была до того старая, что с лица её стёрлись национальные черты. Он не глядя вытащил из кармана бумажку и подал. Тут же потянулись к нему две другие нищенки, гораздо моложе первой. Завидев бумажку в его руках, Фарида ахнула.

– Крыша поехала у тебя, что ли?! Посмотри, что ты ей подаешь, придурок! – она выхватила у нищенки купюру и мгновенно, с ловкостью фокусника, вынув из сумочки другую, подала той, да так, что нищенка даже не поняла, что произошло потом решительно взяла его под руку и повела по улице.

– Что это с тобой? Ты же дал ей пятьдесят долларов! Для меня тебе иногда стольника жалко было, помнишь? Да шучу, шучу... Ты вечно, сколько тебя знаю, деньгами швырял...

– Да я только хотел посмотреть, как ты среагируешь, – сказал он, оправдываясь.

– А, понятно, – сказала она. – Ну вот я и среагировала, – она повертела в пальцах отвоёванную купюру, непонятно – то ли возвращая, то ли не очень.

– Что скажешь, заслужила? – она помахала бумажкой перед его носом.

– Бери, – сказал он.

Она коротко, как и в первый раз, но теперь с торжествующими нотками в голосе рассмеялась и спрятала деньги в сумочку.

– Сама не знаю, почему я это делаю, – улыбаясь, вздохнула она. – Мне ведь не впрок не заработанные деньги. Может, дашь мне возможность отработать? Или ты как всегда торопишься? Пойдём куда-нибудь...

– Ну, я не знаю, – он пожал плечами. – Просто я сегодня богатый...

– Тогда, может, угостите бедную девушку чем-нибудь, кроме воды из фонтана?

– Вообще-то, мне надо зайти в одно местечко...

– Да! – неожиданно вспомнила она. – Что это за чушь мне говорили... Господи, кто же говорил, не могу вспомнить... Дай бог памяти... Нет, не вспомню... Ребята говорили, что ты умер. Ей-богу, не вру. Умер, говорят, Азад от какой-то болезни, э-э-э... да, от менингита... Я ещё подумала, разыгрывают меня, придурки, ну вас к чёрту, говорю... Да, думаю, как же, умрет он от менингита, жди, если ему умереть, так уж, скорее, от сифилиса или СПИДа...

– Тьфу! – в сердцах сказал он. – Типун тебе на язык! Какие гадости говоришь...

– Прости, милый, – сказала она, тесно прижавшись к нему боком, так что даже столкнула его с тротуара. – Я больше не буду. Я буду хорошей девочкой, не сердись...

Через неделю, безрезультатно прождав его почти десять дней, уехала в Москву Маша, так и не поняв, что случилось с её мужем. Когда он пришёл домой, мать была одна – сидела, безвольно опустив плечи, глядя на кусочек ясного неба, заглядывавший в окно веранды, шевелила губами – говорила беззвучно сама с собой. Её оставили одну со своим горем, и она, как умела, справлялась с ним. Увидев его, она встрепенулась, словно ожила на миг, будто потеряв навечно одного сына, теперь готова была всей жизнью своей отстоять от опасности другого. Она рассказала ему, что Маша уехала в слезах, ничего не понимая и умоляя, чтобы он позвонил ей в Москву, потому что уже плохо надеялась, что он может приехать.

– Мам, – сказал он. – Объясни мне, пожалуйста, какое имеет ко мне отношение жена Фуада, или, как она его называет, Футика? Зачем она вообще приезжала к нам, оставив там мужа?

Мать тихо заплакала, с ужасом глядя на него.

– Что ты, мам, – ласково проговорил он, взяв её за руку, погладил по этой маленькой, натруженной руке. – Что ты? Не надо...

– Сынок, – сказала она, не в силах прекратить плач. – Ведь ты и есть Фуад. Азад умер. С тобой что-то произошло. Ты – Фуад, Фуад...

Он некоторое время удручённо смотрел на неё.

– Ладно, – сказал он решительно. – Сейчас я тебе докажу. Помнишь, в детстве, кажется, нам было тогда по семь лет или около того, осенью должны были в школу пойти, мы на пляже купались, на Приморском, и я сильно поранился об железку, торчащую из песка...

– Это Азад поранился, – сказала мать.

– Вот я и говорю. Я поранился, а вы с папой покойным перепугались страшно, папа на своей старой «Победе» помчал нас в больницу, и там мне наложили швы на спину. Помнишь? У меня до сих пор между лопаток большой шрам, все думают – от ножа. Вот, теперь смотри, – он снял рубашку, стянул с себя майку. – Ну? Убедилась?

– Сынок, – сказала мать усталым голосом. – У тебя на спине нет никакого шрама.

– Нет шрама? – повторил он за ней и встревоженно посмотрел на мать, подошёл к ней и снова взял её осторожно, нежно за руку. – Ма, пойду на базар, куплю продуктов. Тебе чего хочется, хочешь что-нибудь вкусненькое, а, мам?

– Не надо, – сказала она. – У нас все есть. Ведь мы справляем поминки по Азаду. Ты не забыл? Каждый четверг приходят родственники и близкие. Готовить приходится человек на сто... Твои тётки помогают, твои сёстры двоюродные...

– Да, чего-чего, а родных у нас навалом, – усмехнулся он. – Ладно, ма, мне идти надо. Я тебе денег оставляю... Я позвоню, – и он торопливо вышел, плотно прикрыв за собой дверь, и мать, оставшись одна, долго смотрела на эту дверь, прикрытую без стука, но так решительно и плотно, будто сын её желал воздвигнуть глухую стену между собой и ею. И она снова заплакала – что ей было делать? – заплакала, обуянная страхом и ужасом, видя, что творится с её единственным теперь сыном, и не в силах помочь, не умея прийти на помощь.

Выйдя от матери, он, неожиданно для самого себя, пошёл на Приморский бульвар, будто сами ноги бессознательно повели его. Он теперь не удивлялся подобным вещам, почти привык к ним, память ног и рук, память тела порой казалась сильнее обычной памяти, когда он силился что-то вспомнить и не мог. «Что я здесь делаю? – удивился он, поглядев на море, на развороченный асфальт, на груды мусора – следы доморощенного долгостроя. – Зачем я сюда пришёл? Давно не был... Давно? Как же так? Я ведь тут почти два в неделю прохожу, по набережной...»

Ночь он провёл за игрой в каком-то подозрительном полуподвальном помещении, заваленном ящиками, с характерным запахом погребца – отовсюду пахло винными бочонками, хотя ничего подобного и в помине не было. Впрочем, компания игроков в покер абсолютно не вписывалась с виду в этот притонного вида полуподвал, играли вполне солидные люди. Здесь он впервые, едва успев удивиться, обнаружил в себе явные признаки карточного шулера. Но вскоре выяснилось, что был он таким далеко не в гордом одиночестве: собравшиеся за игрой за грубым неотёсанным столом, даже с расстояния пушечного выстрела не напомиавшим карточный, один другого стоили. Игра шла с переменным успехом. Но к утру он всё-таки был в выигрыше, хоть и небольшом. Когда уже расходились, один из игроков отозвал его в сторонку и, проведя за нагромождение непонятных ящиков, негромко произнёс:

– А я ведь узнал тебя. Ты его брат. Близнец. Разве не так? То-то я слышал, что Азад недавно умер в больнице.

– О чём ты говоришь? – сказал он. – Я не понимаю.

– Прекрасно понимаешь, – рассердился игрок. – Я видел вас вместе несколько лет назад.

– Ну и что?

– А то, что ты выиграл у меня полтора куска зелёных, – игрок вдруг вытащил из-за спины пистолет и приставил дуло к его животу. – Если хочешь, можем договориться без шума.

– Нет, хочу с шумом, – сказал он, глядя в глаза игроку. – Я свой дома оставил, но в следующий раз обязательно захвачу. И тогда не буду долго разговаривать, сразу прострелю тебе кишки, мудозвон.

– Пошёл ты!.. – взъярился игрок, но дуло убрал, а несколько секунд погода и сам убрался, оставив его в покое.

Кончились сорокадневные поминки по Азаду, и теперь мать частенько оставалась одна, если не считать, что время от времени навещали её сестры, изредка оставались ночевать, помогали по дому, поддерживали морально – она ещё не пришла в себя после обрушившегося на неё горя, и теперь, после сороковин, когда сразу прекратились визиты, она остро почувствовала себя одинокой, ко всем бедам прибавилось ещё несчастье с сыном, у которого, как все теперь считали, было неладно с головой. Так и жене его сообщили, в Москву. Он теперь часто звонил, чаще, чем обычно, заходил домой. Однажды зашёл и взял из тайника пистолет, носил его повсюду с собой.

Через четыре дня он с двумя подельниками ограбил магазин. Его уговорили те двое приятелей, зная его безрассудную смелость и неумение отступить с полпути, какое бы дело он ни выбрал; он сначала отказывался, всё-таки он игрок, а не грабитель, но магазин – чёрт его дери – сам плыл в руки: ночью никакой охраны, пустынная улочка, с замком ребёнок справится, а товары только привезли – навалом. Сначала он подумал даже, что-то всё слишком легко получается, не ловушка ли это? Но приятели оказали ему, что это исходит от безалаберности хозяина, который длительное время собирает поставить надёжную железную дверь, да так никак и не соберётся, пока гром не грянет, вот они ему и помогут, чтобы он перекрестился. Один из подельников имел хорошее, надёжное помещение для временного хранения товара. Одним словом, всё решительно сходилась – надо было брать магазин, грех упускать такую возможность. Дело для него было новое, и хотелось попробовать, хорошее, рискованное дело, для настоящего мужчины. Короче, он дал себя уговорить без особого труда. Всё обмозговали и начали действовать: угнали заранее облюбованную машину, тихо, в два часа ночи, вскрыли магазин, перевезли товар и сложили на складе до поры, пока не найдётся оптовый покупатель. Потом отмечали его первое дело. Целку тебе сломали, шутили подельники, теперь сам будешь проситься – не возьмём.

И опять звонила Маша из Москвы.

– Что же это такое происходит? – жаловалась она его матери. – Ведь он был такой скромный, настоящий труженик, с утра до вечера на работе, хороший муж, хороший специалист, – заиклилась она на одном и том же, чуть не плача, – разве что детей у нас не было, так что же, мы только три года как женаты, и разве нельзя было по-человечески сказать, что я недоволен тем-то и тем-то?.. А то, что вы говорите, что он теперь болен, простите, меня не убеждает, у него не было никаких предпосылок к подобной болезни, я тут советовалась со знакомыми психиатрами... – она вдруг, не сдержавшись, заплакала громко. – Но что же, господи, что с ним происходит? Ведь это страшно... Ведь он никогда не любил такой безалаберной, божественной жизни, был домосед, ведь это не его жизнь, которую он сейчас ведёт, вы же должны знать... Что с ним творится? Кто это, кто с ним такое сделал?!

Бедная женщина ничего не могла ей ответить, только успокаивала её, чувствуя, как тяжело ей даются слова успокоения, сама она гораздо больше нуждалась хоть в какой-то ясности, определённости насчёт своего сына.

Всё-таки Маша не собиралась так легко отказываться от мужа. Как-то приехала как снег на голову – без звонка, без телеграммы – с одной лишь небольшой сумкой: бельё, минимум вещей, самых необходимых, но с твёрдым намерением не уезжать отсюда без мужа, или, по крайней мере, убедиться, что случай с её Футиком и в самом деле неслыханно тяжёлый и придётся ей отказаться от него. Она поселилась у свекрови, которая была ей по-настоящему рада, что ни говори, они ведь были сейчас сёстры по несчастью и понимали друг друга с полуслова. Несколько дней она жила у свекрови, безрезультатно ожидая его звонка или прихода, но эти дни как раз совпали с горячей порой в его деятельности: реализовывали товар из ограбленного магазина с поделниками и, как водится, не поделили. Он-то плевать хотел, это не его бизнес, он зарабатывал игрой и грех было жаловаться – деньги текли рекой, в Баку, как нарочно, в последнее время пооткрывали казино, вполне легальные, где он чувствовал себя, как рыба в воде. Но один из поделников стал зарываться, явно намереваясь облапошить его, чего он никак не мог допустить – это впоследствии могло бы сказаться на его авторитете профессионального игрока. Пришлось доказывать, что он далеко не фраер, пришлось немного порезать товарища, поучить его, третий еле отлепил их друг от друга, на том и расстались, обещая друг другу еще свидеться. В тот же вечер попал он на крупную игру, но везло с переменным успехом, так что выигрыш был ничтожным. Только на пятый день после приезда Маши он позвонил домой, матери, которая тут же сообщила ему, как они и договаривались с невесткой, что очень плохо себя чувствует, осталась одна и просит его приехать, так что он тут же, бросив трубку и скрипя от досады зубами, помчался домой. Дверь ему открыла Маша, мать и в самом деле расхворалась и лежала в постели, приходила медсестра делать ей уколы, и Маша, таким образом, на этот раз пришлась как нельзя более кстати. Но только не для него.

– Ты?! – завидев её, рассвирепел он не на шутку. – Опять приехала? Или и не уезжала с тех пор?

– Твоей матери было плохо, я приехала присматривать за ней, – соврала она, немного даже испугавшись его необычной ярости. – Всё-таки я ей невестка, не чужая...

– Здесь целая орава родственников, – проворчал он, немного успокаиваясь и проходя в комнату матери, – которым, кстати, она часто помогала деньгами, благодаря мне, между прочим... Могли бы теперь и вспомнить хорошее, чтобы не прибегать к услугам невестки из ближнего зарубежья. Правильно я говорю?

Маша, бессловесная, шла следом за ним.

– Так, – сказал он, оборачиваясь к ней. – Я смотрю, тебе что-то от меня надо. Угадал?

– Да, – сказала она. – Мне надо вернуть тебя.

– Вернуть куда?

– Послушай, – сказала она, заметно волнуясь, ломая нервно пальцы, и тут вдруг замолчала и долгим взглядом поглядела на его мать.

Та лежала в постели и, заметив на себе взгляд невестки, прикрыла глаза и чуть отвернулась, словно давая знать, что не будет вмешиваться в их разговор, она слишком слабо себя чувствовала.

– Ма, – тихо окликнул он мать. – Как ты, ма?

– Ничего, – выдавила она из себя, не открывая глаз. – Теперь получше. Если хотите, пройдите в другую комнату, поговорите.

У неё по привычке чуть не сорвалось с языка – в комнату Азада, но она вовремя сдержалась: непонятно, как бы отреагировал на это её сын.

Маша взяла его под руку и отвела в другую комнату.

– Пойдем, пусть она поспит, – сказала Маша. – Пусть отдыхает.

Когда они вошли в комнату Азада, она прикрыла двери, мельком глянула на диван, на котором спала эти ночи, и сказала:

– Только дай мне высказаться до конца, не перебивай и не убегай, прошу тебя

– она взволнованно перевела дух. – Я для этого разговора прилетела специально из Москвы, выслушай меня.

– Хорошо, – спокойно ответил он. – Я буду молчать. Хоть ты меня и раздражаешь.

– Послушай.

Она немного помолчала, собираясь с мыслями, чтобы начать с самого важного, чтобы он не мог уйти, не дослушав её, но разговор с ним, тысячекратно прокручиваемый в голове в последнее время, как раз сейчас вдруг от волнения, что она видит его и наконец-то может поговорить, вылетел из памяти. Она постаралась взять себя в руки.

– Я хочу тебе добра, ты веришь мне?

– Мне отвечать? – спросил он, не дождавшись от неё продолжения.

– Да.

– Верю, – ответил он, немного подумав. – Потому что, с чего бы тебе желать мне зла, я тебе ничего не делал плохого.

– Так вот, поверь мне, поверь, милый, с тобой происходит что-то очень странное. В Москве я проконсультировалась с психиатрами – все говорят, что медицине такой случай неизвестен. Ты возомнил себя... нет, прости, не то я сказала... ты перевоплотился... нет... короче, ты думаешь, что ты – твой покойный брат-близнец, что ты Азад, а не Фуад, как раньше...

– А, – открыл было он рот, чтобы возразить, но она остановила его нетерпеливым жестом.

– Ты обещал выслушать до конца. Так вот, сначала я не понимала, думала, ты что-то задумал, что ты хочешь просто бросить меня, избавиться от меня, ты же знаешь, у женщин на уме только то, что касается непосредственно их самих, думала, что ты, ну, притворяешься, что ли... Вы с твоим братом люди по характеру очень разные, ты – тихий, скромный, не любил шумных компаний, трудно сходилась с людьми. Твой брат – царство ему небесное – прямая твоя противоположность, его знает вся шантрапа и все проститутки в городе, потому, наверно, он и не женился до тридцати лет, он не был по натуре домоседом, семьянином, как ты, не мог жить с женой, любить... Вспомни, как ты был рад, когда устроился на работу в совместное предприятие с турками, как мы отмечали это событие в узком кругу друзей, помнишь, Тихомировы приезжали, Таня с Алексеем, как ты возил меня показывать эту строительную фирму в Сокольниках, и у меня каблук на ботинке отлетел, и ты отправил меня домой на такси... – она всхлипнула... – Я за тобой скачаю, милый...

...Тут он отметил про себя, что она неграмотно выразилась, но вовремя спохватился, что делать замечания по поводу лексикона – это из репертуара начитанного Фуада, и не стал её поправлять...

– Нет, я не то хотела сказать, всё это не то... – продолжала между тем она, со страхом заметив поскуцневшее вдруг выражение его лица. – Я должна вот что... Меня предупредили, что есть один вариант, чтобы ты мог вспомнить все, вспомнить себя, ты, твоё тело должно вспомнить меня, – она сбросила с себя платье и, голая,

подошла к нему вплотную, обняла, прижалась к нему всем телом. – Ты... Ты с ума сошла! – он испуганно отстранил её от себя и воровато оглянулся на дверь.

– Что ты себе позволяешь?! Ты – жена моего брата... Ах ты, шлюха!..

– Молчи, – она, готовая к такой реакции, нежно прикоснулась к его губам пальцами. – Обними меня и молчи.

Через полчаса, когда они одевались, она, глядя на него, с тревогой сказала:

– Ты никогда не был таким.

– Каким?

– Ты был как зверь, как животное...

– Но ведь тебе это понравилось, признайся.

– Да, – сказала она. – Понравилось. Очень.

– Но даже после этого я не Ипполит, – вспомнил он, дурачась, фразу из популярного фильма Рязанова. – Да, – вздохнул он, натягивая через голову рубашку, – не думал, что наставлю рога родному брату...

Тогда она заплакала, безутешно, тихо, горько заплакала, понимая, что уже не остаётся никаких шансов и она потеряла его безвозвратно.

– Постой, – сказал он, не зная, как её утешить и надо ли вообще утешать. – Подожди. Я тебе сейчас всё докажу. – Он стал снимать уже надетую рубашку. – Скажи мне, у Фуада на спине был шрам? Большой выпуклый шрам между лопаток? С детства остался... А?

– Нет, – сказала она, утирая слезы.

– Нет. Ну так вот, смотри, – он стал перед ней на колени, нагнув голову, чтобы ей было удобнее видеть. – Что скажешь?

– Да, – сказала она, прикрыв глаза и проводя рукой по его гладкой спине. – Вижу. Большой, выпуклый шрам... – и снова, хоть и сдерживала себя, горько заплакала...

Порой охватывали его непонятные, сентиментальные чувства, которые, сколько себя помнил, он только презирал, и появление их изумляло его; он ловил себя на том, что начинает мечтать, но не так, как обычно мечтают, о будущем, а мечтает о прошлом, строя его заново и думая, как бы могла обернуться его судьба, если б он своевременно предпринял те или иные шаги и пошёл бы по другому пути, чем тот, что был избран лет десять, пятнадцать назад... Мечтал он страстно, весь отдавался грёзам, забывшись, как во сне; заставляли его эти грёзы порой в самое неподходящее время и в неподходящем месте, поэтому он не на шутку взволновался, но как человек физически здоровый, не болевший до сих пор ничем серьёзным, непривычный к болезням и ненормальному биологическому состоянию, махнул по здоровом размышлении на это рукой; ещё чего, будет он возиться, обращать внимание на всякую муру. Но иногда он серьёзно задумывался, как могла бы сложиться его судьба, если б он, например, женился, если б он женился на такой, скажем, как Маша, жена Фуада, были бы у него дети, уже могли бы быть большими, подростками, а он бы работал в поте лица где-нибудь в спокойной конторе, на каком-нибудь предприятии, приносил бы деньги домой, жене, ощущал бы приятную усталость после работы и сознание выполненного долга, лежал бы на диване с газетой, смотрел бы телевизор, всякую муру, просматривал бы дневники детей и мягко журил бы их за сниженную успеваемость по какой-нибудь географии, а жена бы сидела в кресле, что-то вязала, и свет от торшера, зелёный, приглушённый, падал бы на её лицо, готовое улыбнуться... Он тревожился, когда ловил себя на подобных мыслях. «Что это со мной, размягчение мозга, что ли?.. Это на Фуада похоже, оставим ему всю эту ахиною... Нечего херней заниматься, мне сосредоточиться надо, собраться, предстоит важное дело», – думал он.

Встреча была короткой, деловой, всё уже заранее оговорили: он со своим дружкой должен был выбить долг у одного хмыря, который вот уже год не отдавал деньги, взятые на два месяца под проценты. Прихватили с собой, естественно, и хозяина денег. Долга накрутилось ни много, ни мало на тридцать четыре тысячи долларов. Договорились так: хозяин получал свои десять тысяч – деньги, отданные год назад, возвращали ему без всяких процентов – и отваливал, радостный, оставшиеся двадцать четыре тысячи доставались им с подельником. Позвонили у дверей. Напротив глазка стоял незадачливый хозяин денег. Дверь долго не открывали, но на настойчивый звонок, наконец, подошли и стали дотошно расспрашивать через закрытую дверь, рассматривать через глазок. В конце концов дверь отворилась, и как только это случилось, все трое ввалились в квартиру, он с подельником приставили к животу должника два пистолета и в течение часа вытряхнули из него двадцать шесть тысяч, как он утверждал, всю наличность, имеющуюся дома. Чёрт с тобой, плюнули, ушли. Что есть то есть, возвращаться за остатком в таких делах было нереально. Хозяину денег дали восемь тысяч (тот втайне был очень обрадован, потому что вовсе не надеялся в последние час-полтора, что такие крутые ребята могут ему вообще что-нибудь вернуть), оставшиеся деньги они с приятелем поделили на двоих. Подобных дел в последнее время в этом богоспасаемом городе было множество: одна половина города, как говорили шутливо, задолжала другой половине, и деньги не отдавали, или не могли, или не хотели, и кто умел, находили бесстрашных парней, чтобы вернуть свои деньги у бессовестного должника, если только были уверены, что деньги у того есть и он намеренно не возвращает. В таких делах, где требовались решительность и смелость, умение брать за горло, угрожать и шантажировать, естественно, нельзя было расслабляться, потому его и злило, бесило даже, когда вдруг ни с того ни с сего прилипали, как говно, какие-то непонятные, пустые видения, мечты и прочая чепуха, которую уж никак нельзя было бы превратить в деньги. Разве что став писателем, да и то в последнее время, он знал это от своего приятеля, работавшего в редакции газеты, – писатели жили хуже нищих, за что по старой, укоренившейся за долгие десятилетия привычке благодарили правительство... Однажды он увидел во сне кусочек из жизни Фуада, мечтателя и неудачника. Приснилось ему, что... Но что ему нужно было в жизни брата, такой теперь далёкой от его жизни, где ему на каждом шагу везло, где он без особых усилий мог заработать кучу денег, которую брат его даже вообразить не мог, где всё было у его ног – красивые женщины, возможность утончённых удовольствий, что не могли себе позволить другие; тогда что же, что ему нужно было в той, непостижимой для него жизни брата-близнеца?.. И тем не менее, приснилось ему, что он опоздал на работу на пятнадцать минут и начальство распекает его, как второгодника, и тут же ещё один сон: он – студент и должен сдавать экзамен по геодезии и ни черта не знает, не готов... Он проснулся среди ночи в холодном поту, сел в постели, закурил, стараясь отдышаться, успокоиться. Ощущение страха во сне перед требовательным начальством и экзаменаторами было до того реальным, будто он когда-то и в самом деле переживал всё это: и экзамены сдавал в институте, и работал где-то, где боялся начальства, как огня. Откуда это взялось, думал он, торопливо, нервно выкуривая сигарету, ведь в его жизни не было такого, ни в институте он не учился никогда, ни на работе не вкалывал, а что касается геодезии – он даже не слышал, с чем это едят, а что касается распекающего начальства, то положил он на подобное явление с прибором. Тогда откуда же взялось, почему он так ярко всё чувствовал, как будто когда-то пережил, будто знакомо?.. Да... Нет ответа... «Слава богу, что минула меня чаша сия, – думал он, – не то жил бы я сейчас таким же червяком, что и Фуад: работа – дом – дотягивание от зарплаты до зарплаты, вечная боязнь вышестоящего начальства, вкалывание на износ, редкие, сомнитель-

ные, кислые удовольствия, однообразные, диктуемые безденежьем, периодическое уничтожение порывов души и сексуальных страстей, как у всех бедных людей. Бр-р-р... Это не по мне, – подумал он. – К тому же брат такой неудачник, что не приведи бог... Но почему этот сон? Откуда?» Он докурил сигарету и, так и не найдя ответа на этот вопрос, снова спокойно заснул, как и делал обычно, махнув рукой на всё непонятное, непостижимое и послав его подальше...

Внезапно матери сделалось хуже. Был сердечный приступ, вызывали «скорую» в результате уложили её в больницу с ишемией сердца. Он нашёл лучшего кардиолога, что ещё оставался в городе (все известные врачи-евреи давно уехали и жили по-человечески вдали от этого некогда родного для них города, который теперь им было бы трудно узнать), достал лучшие лекарства, нанял медсестру, сиделку для матери, хотя сам все дни и ночи в это время не отходил от её койки в больничной палате. Отлучался только ненадолго, чтобы купить продуктов и медикаменты, которых, вполне естественно для бакинских больниц, не было в наличии, несмотря на то, что по телевидению только и трубили о гуманитарной помощи республике со стороны той или иной страны – вся гуманитарная помощь с большим успехом и не менее большим опытом разворовывалась. Воровство и взяточничество, как чума, разъедали в последние несколько лет общество, и он, зная это, как человек, выросший среди ублюдков, готовых всё продать, ничему давно уже не удивлялся, а соответствовал – моментально, не торгуясь, давал столько, сколько у него просили. Денег он не жалел, лишь бы мама выздоровела. В эти дни с ним что-то происходило, он стал заметно мягче, сердечнее, сделался ласковым, говорил с матерью понимающим тоном, так что однажды она, пребывая в полусонном, полубессознательном состоянии, даже сказала ему:

– Ты стал совсем другим человеком, Азад. На себя не похож, ласковый, добрый, хороший сын... Надо было мне давно умереть, чтобы ты так изменился...

– Ну что ты, мама, – сказал он, вдруг ощутив на щеках льющиеся слезы, – что ты такое говоришь, родная? Ты будешь жить ещё долго, дай бог.

– Нет, – сказала она тихо, очень буднично, как просят передать хлеб за столом. – Я умираю.

И это было правдой. Через двое суток она скончалась во сне, без особых мучений и стонов. Он был подавлен горем. Сознание того, что он как сын ничего не сделал для неё при жизни, терзало, уничтожало его, и тогда, может, впервые, он понял, какое он ничтожество. Когда первая, самая сильная, удушливая волна горя прошла, он решил наверстать после её смерти то, что не было сделано при жизни матери. Через своих богатых и влиятельных друзей-игроков он вышел на знаменитого скульптора, заказал ему памятник своей ма-амочки, принёс ему груды фотокарточек, показал свои любимые, не торгуясь, заплатил всё сполна (никакого аванса, мэтр, деньга вперёд), хоть сумма была отнюдь не малая. Сейчас, после смерти матери, с которой он так редко, урывками виделся, он почувствовал вдруг огромную, невосполнимую пустоту: с родными он почти не общался, настоящих друзей, готовых выслушать и посочувствовать, у него не было, жены и детей – тоже, и он полетел сломя голову в эту пустоту, теряя по пути всё то человеческое, что ещё держалось в душе его при жизни матери, что удавалось тогда сохранить и что особенно ярко проснулось и проявилось во время краткой болезни матери в больнице. Похоронив мать и отдав ей сыновний долг в сорокадневные поминки, он ещё глубже, ещё страстнее, как накануне конца света, ударился в разгул: игра, женщины, пьяный дебош, драки, шумные застолья в дорогих ресторанах, огромные чаевые, расшвыриваемые официантам. И с каждым днём всё больше завязал, всё глубже уходил, утопал в этой будоражащей кровь жизни.

Прошёл год со дня смерти матери. Он устроил пышные поминки, пышность которых уже диктовалась не столько большой любовью и нежной памятью об усопшей, сколько желанием утереть носы приглашённым, чванством, дешёвым высокомерием и тщеславием: на столах, сервированных дорогой посудой на сто человек, такой дорогой, что к ней боязно было притронуться, лежало все вплоть до икры, ананасов и даже экзотических кокосовых орехов, с которыми никто не знал что делать, как, впрочем, и со всем остальным – не будешь же на поминках тянуться с ножом к ананасу или аппетитно чистить банан, хотя было всё, что душе угодно, всевозможны холодные закуски, так что, грешным делом, на ум невольно приходила мысль о явном отсутствии водки и коньяка, и если б не мусульманские незыблемые правила поминок, то на таком обильном столе спиртное оказалось бы весьма кстати. Важный, высокий чин из мечети, приглашённый за большие деньги, счёл своим долгом осудить такое необыкновенное поминальное изобилие, но осудил как-то слишком тонко и вяло, так, что многие даже не поняли – хвалит или осуждает. День, когда устанавливали на кладбище надгробный памятник, выдался промозглым, холодным, сеял мелкий, колючий дождь. У него внезапно перехватило горло, когда он увидел памятник матери, хотя видел его в процессе изготовления уже не раз в мастерской скульптора, но здесь, среди надгробных плит, когда памятник торжественно-медленно занял отведённое ему печальное место, стал на вечное своё поселение, он смотрелся совсем иначе; невыразимо тоскливо сделалось вдруг на душе, он подумал: что это мама вот так, с обнажённой головой, сидит под холодным дождём, и будет сидеть в любую погоду, а он не сможет ничего сделать, не сможет укрыть её, дать ей тепла, человеческой ласки, на которую, впрочем, и при жизни её был не очень-то способен. Он ещё раз долго поглядел на установленный памятник: скромно поджатые под кресло ноги мамы, словно она боялась помешать кому-то пройти мимо и убрала ноги, руки её, сложенные на коленях, натруженные, такие родные, чуть склонённая влево голова, без улыбки смотрящее лицо. Ему показалось, что смотрит она на него с укором, и тут он, может быть впервые, пронзительно, всем существом своим понял, что мамы нет. Вечером он решил позвонить в Москву брату, о котором до сих пор вспоминал редко, только тогда, когда был подвержен приступам тупой мечтательности; он даже будто не замечал его отсутствия на поминках матери, благо ни один из родственников не спрашивал его о брате, а сам он считал, что вполне естественно, если у человека важные дела, он может и не приехать на поминки матери. А родные, кстати, на поминках, он вспомнил теперь, как-то странно на него поглядывали, старались не встречаться взглядами, а если встречались, тут же отводили глаза, торопились, если уж вынуждены были говорить с ним, поскорее скомкать, закончить разговор, и было видно, что разговор с ним утомляет их, держит всех в напряжении, и отходя от него, они свободно вздыхали. Он вспомнил это и удивился: отчего? Может, именно из-за брата, не приехавшего на поминки? Но разве он мог заставить того приехать? Сам должен был догадаться, что следует приехать на поминки матери... Разве он слуга брату своему? Но теперь вдруг ему очень сильно захотелось поговорить с родным человеком, поделиться с ним своим горем, рассказать ему о том, как устанавливали сегодня памятник и что он при этом чувствовал, какой мелкий, грустный сеял дождик на кладбище, как он стоял меж могил и вспоминал их с братом детство и молодую маму, которая была красива, здорова и далеко было ещё до смерти, так далеко, что это даже казалось невозможным – умереть, а вокруг всё было залито ярким солнцем, их приморская дача... Всем этим захотелось поделиться, но с кем он мог поделиться, как не с братом? Вечером из дома он набрал по коду московский номер Фуада, на миг удивившись, что не пришлось заглядывать в книжку: так цепко держала его память этот не такой уж важный для него номер телефона. Трубку подняла Маша.

– Алё, – сказала она, и у него вдруг непонятно забилося сердце. – Кто говорит?

– Маша, это я, Азад, – сказал он, всё ещё чувствуя нарастающее, непостижимое волнение. – Позови моего брата.

Несколько секунд в трубке было тяжёлое молчание; пауза, во время которой опешившая Маша соображала, что и как ответить, обозначилась для него вдруг чётко, как петля удавки, и он стал примериваться, как шут – сунуть голову или нет, когда тишина взорвалась её негодующими возгласами:

– Ты ненормальный! Ты болен! Тебе надо лечиться! И никогда больше, никогда слышишь, никогда не звони сюда! – она бросила трубку, но до этого ему послышался как будто встревоженный, незнакомый голос рядом с трубкой, приглушённый, чем-то торопливо интересующийся.

Он положил трубку, пожал плечами. Если брат уже не с Машей, почему же он до сих пор не дал о себе знать? Уехал? Поменял работу, жену, страну?

В дверь позвонили. Он пошёл открывать. С недавних пор он превратил свою квартиру, где жили и умерли его родители, в притон для азартных игр, не испытывая при этом никаких угрызений совести. Под утро, засыпая, крайне утомлённый после бурной игры, в которой он, как обычно, оставался в выигрыше, испытывая противные, острые приступы изжоги от выпитой без закуски водки, он вдруг вспомнил кусочек из их с братом детства: лет тогда было им около семи, на пляже в жаркий день они затеяли возню на горячем песке, стали бороться под ленивые окрики матери; конечно, это он, Азад, был инициатором соревнования, Фуаду через минуту борьба надоела, он же был уже тогда настырным, как чёрт, и не отставал, не хотел прекращать борьбу, пока не положит брата на лопатки, и как-то так получилось – докатились они, сцепившись, до каких-то железок, торчащих из песка. Фуад, изловчившись, оттолкнул потное, ненавистное, жарко прилипавшее тело брата, не дававшеедохнуть, тот упал как раз спиной на эти ржавые железки, сильно поранился, и с тех пор на спине у него глубокий шрам между лопаток, рубцы которого он отчётливо чувствует пальцами.

Так пролетали дни и месяцы, жизнь богемная, постоянный кавардак в квартире, знакомые и незнакомые лица, чувствующие себя как дома, ночные пирушки, шумное веселье в перерывах между игрой, ругань, порой драки, крики и жалобы соседей, игра до потемнения в глазах – такая жизнь вполне устраивала его, он не ударил бы пальца о палец, чтобы что-то изменить в существующем порядке вещей, вернее, в существующем беспорядке вещей, он ни разу не задумывался о другой жизни, о том, чтобы остепениться, что ему уже под сорок лет, что в его возрасте почти все нормальные люди имеют семьи, детей, уют в домах, желание ласкать детей, играть с ними, маленькими, и заботиться о них, познают тихие семейные радости – усладу пожилых лет, и так жизнь постепенно, без скачков и резких торможений, или, напротив, с потрясениями, большими радостями и печальями, катится к старости, к своему завершению... А если нечто подобное западало иногда в душу его, то он инстинктивно яростно защищался и, чтоб не расслабиться, не поддаться обаянию успокоительных картинок, возникавших перед глазами, соблазняя другой, неведомой жизнью, яростно строил плотину из отчаянья и презрения в душе своей, и плотина эта в дальнейшем помогала, чтобы ни капли из аморфных, рыхлых, как студень, мечтаний не просочилось в сознание его, не отравляло бы существование, не лишало бы спокойствия.

К нему приходили приятели, которых он всего-то раза два видел, приводили случайных подружек, уединялись с ними, как у себя дома, и через полчаса или час выпроваживали девочек, или же – бывало и так – делились ими с присутствующими, а потом садились за игру. Впрочем, в любой момент, когда ему уж слишком досажда-

ли и появлялось желание остаться одному, он мог выпроводить, а то и вышвырнуть без всяких церемоний любого гостя, не желавшего покидать гостеприимный кров сей. Комплексами кавказского гостеприимства он не страдал.

Однажды пошла крупная игра в нарды, и он начал много выигрывать. Везло невероятно, и все уже стали думать, что он специально выкидывает нужное количество очков на костях, как говорится на языке нардистов – придерживает зары – кости, но он доказал, что нет, играет честно, хотя и мог бы выкидывать на заказ, мухлевать, – просто везло, очень везло. Проигравшись вчистую, партнёр его поднялся и, видимо, испытывая неловкость оттого, что продулся в пух и прах, как мальчишка, решил хоть какое-то, но оставить за собой последнее слово, проговорив абсолютно без всякой злости:

– Ну и воняет же от тебя! А я-то думал, что же это мне мешает играть...

Он и в самом деле не купался уже довольно длительное время, даже не помнит, сколько, не до того было, завяз в игре ночами напролёт, засыпал под утро за столом, отсыпался немножко днём, а там с сумерками снова начиналась весёлая жизнь, собиралась компания и снова пошло-поехало. Он поднялся из-за стола, сложил свой выигрыш, положил в карман и сказал своему обидчику:

– Да, это правда. Я не успел искупаться. Сейчас я пойду в ванную, и если к моему выходу оттуда ты ещё будешь здесь, я тебя выброшу в окно.

Тот не стал так долго дожидаться и, как только хозяин квартиры скрылся в ванной комнате, медленно, с достоинством ушёл, ухватив кусочек начинавшегося вслед ему оскорбительного смеха оставшихся.

Когда он, зажмурив глаза, выливал на голову остатки шампуня под душем, вдруг ярко, как вспышка, порхнула перед ним уютная, тёплая картинка: он лежит на диване под зелёным торшером, мягкий свет от которого достигает и жены в кресле, то ли штопающей ему носки, то ли что-то вяжущей, в руках у него – зелёный журнал, а на животе лежит зелёный сиамский кот, от которого делается тепло и животу, и груди, и даже спине. И тут ударом кинжала осветило память, пронзила все его существо кличка – Айхо. Так звали кота – Айхо! Он стоял как оглушённый под льющей на голову водой, не в силах пошевелиться, будто стоило ему хоть пальцем шевельнуть, и он мог отогнать что-то очень тонкое, воздушное, что с трудом создавалось в нём... Но через мгновение всё прошло, и он разозлился, не понимая, что с ним такое происходит, кто этот человек на диване, читающий журнал, кто его жена в кресле, зачем его память так цепко держит их и услужливо время от времени подкидывает ему, что за всем этим стоит и что с ним творится, если обычные картинки семейного уюта могут так необычайно взволновать его, что он застывает, как болван. Уж не имеют ли они непосредственное к нему отношение? К сожалению, он мог только задавать вопросы. Та часть его души, которая могла бы хоть что-то прояснить, давно была с ним в разладе. Он кое-как домыслил, вышел из ванной в халате, с мокрой головой, с волос капала вода, он в рассеянии забыл даже вытереть голову и, не обращая внимания на шумных своих гостей, прилёг на диван, намереваясь поспать. Но спать ему не дали. Только он лёг, как тут же чьи-то руки бесцеремонно растормошили его, заставили подняться. Он встал, машинально натягивая брюки, слушал, что ему говорили. А говорили ему, что на этот час была назначена разборка по поводу выколачивания для хозяина большой суммы, и теперь на улице их должны дожидаться и надо поторопиться, чтобы не опоздать. Он молча, ещё полусонный, вспомнил, сунул на всякий случай за пояс сзади пистолет, кое-как оделся и вышел с непокрытой, ещё влажной после душа головой под мокрый снег. Разборка в назначенном месте, на углу двух безлюдных улочек, оказалась на удивление

короткой – минут десять – ни до крика или угроз, ни до драки, а тем более оружия дело не дошло, бóльшую часть денег взяли тут же, остальное договорились собрать на послезавтра, но и этих коротких десяти минут под снегом хватило ему, чтобы простыть: уже через час он стал чихать, выпил стакан водки с перцем, чтобы предупредить простуду, но не помогло, чувствовал сильный озноб, тянуло прилечь, кружилась голова, подскочила температура, а к вечеру вдруг состояние его резко ухудшилось, стало тошнить, рвать непонятно чем, потому что желудок был абсолютно пуст, его буквально выворачивало наизнанку, и необычайная, никогда не ведомая слабость охватила всё тело его. Приятели перепугались, вызвали «скорую», врач которой, ничего толком не поняв в состоянии больного, то и дело терявшего сознание, решил, что необходима госпитализация. Один из пьяных приятелей поехал в больницу вместе с ним, уже не приходившим в себя в машине неотложки, и, приехав, стал совать всем деньги, которые охотно брали. Но ничто уже не могло помочь – болезнь развивалась стремительно – в больнице его сразу же поместили в реанимационное отделение, где, пробыв трие суток в коматозном состоянии, на четвёртые он скончался, день в день и от той же болезни, что и брат его два года назад.

За несколько часов до смерти неожиданно наступило просветление, он пришёл в себя, обрёл себя, и минуты, подаренные ему судьбой до небытия, посвятил тому, что вспоминал Машу, от которой уехал два года назад.



### В марте 2020 года отмечают:

#### 80-летие

Болат БОДАУБАЕВ, *прозаик, переводчик*

Акрам САДИРОВ, *поэт*

Тэжибай ЖАНАЕВ, *прозаик, переводчик*

#### 70-летие

Серик АКСУНКАРУЛЫ, *поэт*

Копен АМИРБЕК, *сатирик*

Жанат ЖАУБАСОВ, *поэт*

Жунис САХИЕВ, *писатель-фантаст*

Самал СОКПАКБАЕВА, *переводчик*

Комек ЫБЫРАЙУЛЫ, *поэт*

Бекен ЫБЫРАЙЫМ, *прозаик, критик*

Нагашыбек КАПАЛБЕКУЛЫ, *прозаик*

#### 60-летие

Галым АРИП, *поэт*

**Редакция журнала «Простор» сердечно поздравляет юбиляров!**

